

## Метафорика духовного опыта

В прошлый раз мы говорили, что религия в отличие от идеологии - это связь с вечностью, основанная на непосредственном опыте, на непосредственном переживании вечности как живой реальности. И сразу возникает вопрос: как передать этот необычный опыт? Потому что обыденная жизнь строится так, что она теряет связь с вечностью, связь с целостностью бытия. Конечно, есть возможность непосредственной передачи от сердца к сердцу. Например, когда (если вы читали книгу Мотовилова, то, конечно, помните) Серафим Саровский захотел показать своему духовному чаду Мотовилу, что значит стяжание Святого Духа, он долго безмолвствовал и молился, и когда почувствовал, что переживает это стяжание Святого Духа, то вышел, и Мотовилов увидел по всему облику святого старца, что тот находится в необычном состоянии. Об этом состоянии писали многие люди, его испытывавшие. Например, Меррел Вольф, американский математик, испытывавший это в 36 году, писал, что его домашние чувствовали, как от него исходит тепло. На такой передаче непосредственно от сердца к сердцу основана практика буддизма чань или по-японски дзэн. В этой традиции слово имеет крайне небольшое значение, и основное, считается, можно передать только при непосредственном общении учителя, который имел опыт, с учеником. Иногда в течение ряда лет учитель разными способами наталкивает ученика, чтобы тот сам непосредственно это пережил. Но очевидно, что этот способ при безусловном превосходстве качества совершенно ничтожен в количественном отношении. Потому что непосредственных учеников в дзэнских обителях может быть в лучшем случае 20-40 человек. Не может один старец общаться с тысячами. Попытки общаться с тысячами всегда вырождаются в духовную халтуру, в игру воображения и т.д. Значит, для того, чтобы нечто из опыта вечности передать не только одиночкам, а задеть этим весь народ, нужны особые слова и другие знаки, нужны иконы, обряды, нужна музыка соответствующая. Но откровение по своей природе не все вмещается в слово и знак. Всякого рода святое слово - это только пересказ опыта, который превосходит слово. Поэтому возникает сразу две опасности. Первая опасность - это буквальное понимание слов. Понимание слов, сказанных, допустим, пророком, как всей полноты истины. И вера сводится к тому, чтобы буквально принять сказанное слово. Например, "Бог сотворил мир в шесть дней". То, что само понятие "день" бессмысленно, когда нет солнца, нет восхода и заката солнца, это разуму не подпускает, выбрасывает. Противоположная ересь (я условно пользуюсь этим термином) - это рациональная попытка растолковать слова, в которых как-то передан опыт Вечности, опираясь на обыденный здравый смысл. Пример этому - толстовский пересказ Евангелия, где выбрасывается то, что в обыденный здравый смысл не влезает. Иногда очень глубокое выбрасывается.

Догму же (в хорошем смысле), то есть правильное понимание, мне кажется, очень хорошо выразил схимонах Силуан, живший в конце прошлого - начале нашего века; умер в 1938 году. "То, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом". Иначе говоря, даже слова Святого Писания, даже при всей своей святости, могут быть прочитаны только в определенном состоянии, когда раскрывается их глубинный смысл. Примерно говоря, эти два уклонения могут быть отождествлены с односторонней ориентацией на заповеди. "Полюби Бога больше всего на свете" без ограничения другой заповедью "Не сотвори себе кумира" легко приводят к тому, что слова, в которых выражен опыт познания Бога, становятся кумиром. Обратный случай - толстовский - это односторонняя ориентация на "не сотвори себе кумира", при который теряются возможности слова как иконы, как подобия, как метафоры, сквозь которую можно уловить нечто, что частично вошло в слово. Слова Силуана опять-таки можно понять по-разному. Можно понять их в строгом церковном смысле, то есть если что непонятно в Евангелии, то надо почитать святоотеческую литературу,

предполагая, что там-то уж все разъяснено. Но это опять просто переносит проблему на другой уровень. Потому что полностью вместить переживание вечности в слове никогда никому не удавалось. И все-таки приобщение к этому опыту само по себе есть опыт, и он не так просто дается, как просто чтением. Опираясь на опыт других религий, я хотел бы вспомнить три правила буддизма дзэн. Для того, чтобы выйти с уровня помраченного сознания и увидеть бытие в его целостности, нужны три вещи: вера, рвение и сомнение. Великая вера, великое рвение и великое сомнение. Вера в то, что такой выход возможен, рвение, которое сравнивается с тем, как человек, уронивший в грязь золотой слиток, бросится на колени и будет искать его в грязи, потому что это все его достояние. Сходная метафора есть в Евангелии: купец, продавший все свое состояние, чтобы купить одну драгоценную жемчужину. А сомнение - в словах, в святых словах, в том, что они полностью выражают истину. Слова здесь неизбежно являются метафорой, и не должно быть здесь того, что в литературоведении называется "реализацией метафоры", то есть буквальным пониманием метафоры. Язык глубинного опыта или негативен или метафоричен. Не помню, читал ли я вам в прошлый раз два стихотворения русских поэтов начала века, в котором речь идет о глубинном опыте. Негативный опыт можно найти в стихотворении Мандельштама "Я слово позабыл".

**Я слово позабыл, что я хотел сказать.  
Слепая ласточка в чертог теней вернется  
На крыльях срезанных с прозрачными играть.  
В беспамятстве ночная песнь поется.  
Не слышно птиц. Бессмертник не цветет,  
Прозрачны гривы табуна ночного.  
В сухой реке пустой челнок плывет.  
Среди кузнечиков беспамятствует слово.**

Все эти метафоры дают чувство как бы кружения вокруг чего-то, что в слово вместить невозможно. Или обратный путь - нагромождение ярких, грандиозных метафор, стихотворение Н.Гумилева "Слово":

**В оный день, когда над миром новым  
Бог склонял лицо свое, тогда  
Солнце останавливали словом,  
Слово разрушало города.  
И орел не взмахивал крылами,  
Звезды жались с ужасом к луне,  
Если, точно розовое пламя,  
Слово проплывало в тишине.**

Я бы сказал, что первое больше тяготеет к духовному миру Дальнего Востока, а второе - к духовному миру Ближнего Востока, библейской образности. Оба эти языка вполне удовлетворительны, тут нет решающих преимуществ. Надо только понимать, что речь идет о метафоре. Метафоры в текстах, передающих духовный опыт, могут быть двойкой природы. Это могут быть подобию, которые человек, имевший некоторый опыт - как он понимает, недоступный собеседнику, - сознательно стремится пояснить что-то чем-то понятным. Например, Хамдани, суфийский мистик 12 века, говорил, что, только попробовав меду, можно понять, чем вкус меда отличается от вкуса сахара. Действительно, невозможно описать словами даже такую простую вещь. У меда медовый вкус, иначе это никак не объяснишь, если не попробуешь. Этим простым подобием объясняется, что надо что-то пережить, чтобы понять. А более сложный случай - когда в самом опыте реальность воспринята метафористически. Чтобы пояснить это, я приведу случай, который сам когда-то испытал. В

момент, когда я узнал, что умирает близкий мне человек, я увидел, как небо расколосось и падает на землю. Я понимал, что это не так физически. Тем не менее, я это видел, не во сне, а наяву. Это можно сравнить примерно так: я не успел подумать, что если это произойдет, то это будет для меня как то-то и то-то, а я прямо увидел это как метафору. И в таких напряженных состояниях сплошь и рядом люди видят что-то метафорически. Это истина, но истина, выраженная поэтически. И поэтому я думаю, что всякий рассказ о глубинном опыте - это икона истины, подобие истины, метафора истины. Икона истинна, так как возможно сосредоточиться на познание того, что на ней, но икона не есть сам Бог. Она только подобие того, что позволяет нам сосредоточиться на образе того, что надо нам постичь.

Можно разделить мистический опыт на разные группы. Он далеко не тождественен и бывает в разных формах. Одной из форм бывает форма видения или слышания. Например, Силуан в один очень напряженный миг своего духовного пути услышал слова Христа: "Держи ум свой во аде и не отчаивайся". То есть: сумей пройти сквозь отчаяние, сохраняя веру. Это очень содержательное высказывание, связанной с целой традицией монашества, хотя высказано в несколько новой форме. Силуан, несомненно, знал некую традицию, он же присутствовал на богослужениях. Но у него возникло это изнутри, и возникло - он как бы услышал, как Христос ему это говорил. Возможны и страшные видения, то есть человек видит какие-то демонические силы. Приведу пример из поэмы Даниила Андреева:

**"Я видел снизу угол челюсти,  
Ноздрей раздувшиеся крылья,  
Печать безумного усилья.  
И взор... Такого взора вынести  
Душа не в силах. Слепо-черный,  
Сосуший, пристальный, упорный  
Взор упыря сквозь сон в гробу".**

Вот в таком духе видения у Даниила Андреева были довольно часто. И на них основаны многие его поэмы. В поэмах он только дополнял, развивал образы, которые непосредственно видел в минуты потрясения.

Возможен опыт другого типа: опыт внутреннего света. По большей части, это происходит ночью, когда внешний свет почти не касается наших нервов, и в этом случае глубинное переживание может приобрести характер внутреннего света, вспыхивающего вот здесь и окончательно гасящего те смутные облики предметов, которые в неполной тьме можем различить. А здесь все это гасится. И человек чувствует себя нераздельным с целостностью бытия, воспринимаемом им как яркий свет, зажегшийся в нем самом. И третий тип (по большей части он происходит при каком-то освещении) - это восприятие физической реальности, но как будто озаренной изнутри, как бы подсвеченной мощным светом изнутри. Это основные типы. Лучше всего искать иллюстрации им у Даниила Андреева, который очень много испытывал таких состояний. Он писал, например: "Состояние это заключается в том, что Вселенная - не Земля только, а именно Вселенная - открывается как бы в своем высшем плане, в той ее божественной духовности, которая ее пронизывает и объемлет, снимает все мучительные вопросы о страдании, борьбе и зле. В моей жизни это свершилось в ночь полнолуния на 29 июля 31 года в брянских лесах, на берегу небольшой речки Неруссы." Далее он описывает собственно само переживание. Оно было опубликовано: во-первых, его процитировал отец Александр Мень в одной из своих книг, а во-вторых, в «Книжном обозрении» в подборке текстов Даниила Андреева. Теперь это можно прочесть в "Розе Мира".

"Когда Луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорноузкой листвою развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в

моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мной, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал, будто стройные сферы, медленно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня. И все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством". Вот основные формы таких переживаний. По внутреннему своему характеру я бы разделил различные случаи глубинного опыта на два подтипа: опыт метафизического страха и отчаяния и опыт метафизического блаженства. В первый раз меня охватил этот страх, когда я впервые в 16 лет познакомился с идеей бесконечности. Я представил себе такую бездну, не имеющую концов ни во времени, ни в пространстве, и в этой бездне точка "я", и вся земля, и все человечество - проваливается в эту дыру. Я перестал об этом думать, потому что это для меня было невыносимо. Но через четыре года - я учился в ИФЛИ на литературном факультете - и читал подряд литературу XIX века, второй его половины. И вот одно за другим я читал что-нибудь в таком роде:

**"Природа знать не знает о былом,  
ей чужды наши призрачные годы,  
И перед ней мы смутно сознаем  
Самих себя лишь грезю природы.  
Поочередно всех своих детей,  
Свершающих свой подвиг бесполезный,  
Она равно приветствует своей  
Всепоглощающей и миротворной бездной".**

Или:

**"Природа - сфинкс. Но тем она верней  
К себе влечет и губит человека,  
Что, может статься, никакой от века  
Загадки нет и не было у ней".**

Вообще у Тютчева таких стихотворений довольно много, с десятков найдется. Они меня захватывали и потрясали. К этому присоединился Лев Толстой, который, как вы помните, в "Анне Карениной" изображает нам, как Левин, счастливый семьянин, прятал от себя веревку, чтоб не повеситься, и ружье, чтоб не застрелиться, потому, что поверил в ту картину природы, которую рисовали материалистические брошюры, и чувствовал, что это для него совершенно непереносимо. Это подробно описывается в "Анне Карениной". Затем у Толстого есть "Записки сумасшедшего" (есть они не только у Гоголя), где он описывает свой арзамасский страх, где его охватил ужас от бездны, в которую он проваливается. Затем у Достоевского в романе "Идиот" можно вспомнить размышления у картины Ганса Гольбейна. Природа сравнивается с машиной, которая перемалывает самое драгоценное, что существует: божественную личность. Натолкнувшись на все это и будучи девственно невежественным в философии (потому что философию я знал только Маркса-Энгельса и Ленина, а они этими вопросами никогда не занимались), я увидел, что не только я мальчиком в 16 лет, а такие великие люди стояли в тупике перед этой задачей, и надо попытаться пойти навстречу этому страху, досмотреть до конца - может быть, что-нибудь высмотрю. И я придумал себе такое краткое заклинание: "Если бесконечность есть (имелась в виду материальная бесконечность, другой я себе не представлял), то меня нет, а если я есть, то бесконечности нет." Я на этом сосредоточился и в течение трех месяцев ворочал эту фразу в голове. Анализу она не поддавалась. То есть это получилось... Я не знал слова «медитация» и прочих..., но фактически я три месяца занимался медитацией над этой загадкой, которая представляет собой чистойшей

воды дзэнский вопрос. Именно такие загадки дзэнские бонзы дают своим ученикам, чтобы они впали в состояние отчаяния и, пройдя сквозь отчаяние, пришли к какому-то другому уровню сознания. Идея такой практики заключается в том, что порок - в нашем неправильном устройстве ума. Если устройство ума завело нас в тупик и мы всмотримся в этот тупик, то, в конце концов, прорвемся сквозь то неправильное устройство ума, которое нам внушено неправильной цивилизацией. Действительно, месяца через три мне пришли некоторые решения, которые связаны были с чувством освобождения и какой-то радости. Любопытно, что их было два. Это было, вероятно, для меня намеком на то, что дело не в словах, что слова могут быть разные. Но я по глупости этого намека не понял. Я решил, что действительно важны именно эти решения.

Одна моя знакомая тогдашняя сказала, что изобрел я очень старые вещи. Первое решение было зернышком объективного идеализма, а второе - субъективного идеализма. То есть ничего нового я, конечно, не придумал, но важно, что это пережил. Я ей не поверил и впал в характерную ересь, связанную с самостоятельным путем - в то тщеславие графомана, который придумывает то, что людям уже известно, но воображает, что он - великий открыватель. И в результате опыт был сперва мало плодотворным. Вообще важен не только опыт, а то, как мы потом его поймем. Понимание опыта может постепенно возрастать, углубляться. В ближайшие годы этот опыт мне почти ничего не давал. Я его вспомнил только в отчаянном состоянии.

В 42-ом году к северо-западу от Сталинграда я испытал очень сильное чувство страха. Знаете, в первом бою я не испытал страха и поэтому совершенно спокойно, когда мне довольно простое задание дали, я пошел куда-то. Я не был готов к тому, что страх надо с трудом преодолевать. У меня было впечатление, что я его довольно легко преодолеваю. Но оказалось то, что я потом назвал психической травмой ранения. Я в феврале был ранен и контужен взрывом бомбы, и когда я увидел снова бомбежку, во мне бессознательно всплыл ужас, уже испытанный. И в течение получаса я с большим трудом боролся (единственный раз в моей жизни) с совершенно паническим страхом: настолько, что, лежа на земле, напрягал всю свою волю, чтоб не броситься куда глаза глядят. Будучи интеллигентом, и, следовательно, привыкнув не только чувствовать, но и наблюдать за своим чувством, я употребил всю свою волю, чтобы разум господствовал. Но разум мог добиться только того, чтобы не бежать куда глаза глядят, но подавить это мучительное чувство страха я не мог разумом. Тогда, перебирая различные аргументы против страха, я вспомнил, что я не испугался бездны пространства и времени, так неужели я испугаюсь нескольких немецких самолетов? И знаете, за этой фразой, достаточно наивной, у меня всплыл опыт преодоления метафизического страха. И моментально физический страх пошел на убыль - и я больше в течение всей войны ничего подобного не испытывал. И я опять осознал это по сути гораздо позже, а тогда в такой наивной форме это подбадривание сработало.

Что это мне позволило понять? В конце концов, мой опыт важен не сам по себе, а только как возможность понять какие-то другие, гораздо более важные вещи. Например, когда я лет через двадцать познакомился с буддизмом дзэн, я его очень легко понимал. Потому что путь дзэн - это растравить в себе чувство метафизической тоски, доходящей до отчаяния, а потом пройти сквозь отчаяние. И тогда ты чувствуешь, что тоска была связана с неправильным устройством ума. Это во мне было уже заложено, и я быстро понял, что у меня был стихийный дзэнский опыт. Но дело в том, что я таким образом мог понять и другие вещи, в том числе и в христианской традиции. Например, почему Бог заговорил с Иовом, а не с его друзьями. Друзья его мыслили систематически и очень правильно. Иов мыслил беспорядочно, бессистемно, задавал вопросы Богу, на которые не было ответа - и проклинал божий мир. Но как раз в этой мучительной борьбе Иова, в его состоянии на краю полного отчаяния и было что-то, что раскрывало глубину сердца. Тогда как логические схемы, которые четко и ясно излагали его друзья - они загораживали Бога богословием. Потому что богословие - еще не Бог, и Бог

скорее заговорит с отчаявшимся человеком, чем с систематическим богословием.

Другой пример, который тоже можно понять в этом духе - пример с александрийским сапожником. Это очень известная история, которая потом в разных вариантах повторялась с разными монахами. По преданию, Антоний Великий, основатель монашества, после ряда подвигов спросил Бога, многого ли он достиг. И Бог ему ответил: меньше, чем александрийский сапожник. Так как Александрия считалась вместилищем всякого греха, то Антоний очень удивился и немедленно пошел в Александрию искать сапожника. Нашел он этого сапожника. Сидел тот, приколачивал кому-то подметку. Начал его Антоний расспрашивать, как тот живет. Тот ответил, что третью часть своих скромных доходов он отдает нищим, третью часть церкви, а на оставшуюся часть кое-как впроголодь кормится. Антония этим нельзя было удивить. Он вообще питался акридами, то есть саранчей, и кореньями. "Ну, а что еще?" - спросил он. "Да ничего,- ответил сапожник. " Сижу здесь и думаю: все спасутся, один я буду гореть в аду". И тогда Антоний понял, чем сапожник его превосходит. Эта та самая традиция, которая потом изнутри снова родилась у Силуана: "Держи ум свой во аде и не отчаивайся". В таком духе можно понять и евангельскую притчу о фарисее и мытаре. Как вы помните, фарисей молится, благодарит Бога, Что Бог его создал порядочным человеком, а не таким негодяем, как этот мытарь. А рядом стоит мытарь в отчаянии от своих грехов, сознавая, что он не достоин прощения, и только повторяет: "Боже, буди милостив мне, грешному". И этот порыв отчаяния оказывается более непосредственным путем познания, чем довольство собой. Метафора и притча разные, но в них есть некоторое общее понимание того, что метафизическое томление и метафизический страх не должно обходить, его надо, собравшись с силами, пройти до конца. И тогда, на другом конце тоннеля, вы увидите рождение света. Непосредственно в моем опыте, вероятно, это сказалось во фронтовые годы. Я, благодаря опыту преодоления метафизического страха, очень легко преодолевал фронтовой страх, и мне даже доставляло какую-то радость попасть в такую рискованную обстановку, когда требовалось преодолеть страх, как бы полететь над страхом. Пушкин писал об этом в своем гимне чуме:

**Все - все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья...**

Кроме прямого смысла гибели физической - это метафора гибели метафизической, которую надо мужественно встретить. В одной из сказок Льюиса есть такой эпизод: после гибели сказочной страны все в посмертии оказываются перед сияющим золотым львом, который в рамках сказок Льюиса - нечто вроде метафоры, за который стоит Христос. И сияние этого льва одних привлекает, и они с любовью бросаются к нему, а других - пугает, они отшатываются от этого льва и попадают в тень, во тьму вечную.

Есть тибетская книга о промежуточном состоянии (у нас это обычно неточно переводят как "Книга мертвых"). В буддийской традиции между двумя воплощениями есть промежуточное состояние. Судьба этого промежуточного состояния описывается в этой книге: наша душа после в посмертии оказывается перед выбором, - или огонь просветления, который кажется душе обжигающим, страшным - или нечто вроде болотных огоньков, которые влекут ее в сторону. И, как правило, душа выбирает эти болотные огоньки и не идет навстречу сжигающему огню просветления. Думаю, что об этом говорил в одной из проповедей митрополит Антоний Блюм, из ныне живущих христиан человек, я думаю, самого глубокого духовного опыта и большой интеллектуальной смелости. Он очень самостоятельно толкует многие предметы. В одной из проповедей он говорил, что вообще невозможно попасть в рай, не пройдя через ад. И даже то, что Христос после смерти проходил через ад, Антоний Блюм рассматривает не как "инспекторское посещение", а как некое, хотя краткое, прохождение через очищающий огонь. Есть такое небольшое стихотворение Зинаиды Александровны

Миркиной, в общем, о том же:

**О, дух сжигающий! Когда наступит тишь,  
Душа в твоих лучах заплещется, сгорая.  
Неотвратим, как смерть, ты смерть испепелишь.  
Одним ты - адский огонь, другим ты - солнце рая.**

Однако достаточно часто человеку непосредственно, без всякой подготовки дается опыт блаженства. Опять-таки, в разных формах. Все формы, о которых я говорил раньше, тут могут быть. Например, Владимир Соловьев испытал это как встречу с необычайно прекрасной, чисто духовной женственной сущностью. С этим связано и все, что он писал о Софии. Это было основано на реальном опыте чистого света, ничем не подготовленном, ничем не заслуженном. Обстоятельства, вызывающие это, могут быть совершенно различны. В одном случае, - я вспоминаю Рамакришну в 16 лет, - человек испытал экстаз, увидав стаю птиц на фоне иссиня-черной тучи, подсвеченной лучом солнца. Кестлер, автор книги "Слепящая тьма", пережил какой-то внутренний взрыв света, сидя над математической книжкой и решая математическую задачу - развлекался, чтобы не думать о неизбежном расстреле. Чайтанья (это Индия 16 века) испытал это, выслушав эротическое стихотворение Видьяпати, которое он в духе индийской традиции воспринял как метафору слияния с Богом. Об этом я буду говорить в следующий раз, о различных формах эротических метафор. Может это быть и при реальном соединении двух глубоко любящих мужчины и женщины. Этот реальный акт может быть пережит как метафора соединения с вечностью. Так или иначе - у меня тоже было такое переживание света - здесь что-то вспыхивает и гасит внешний свет. По-видимому, это переживание воспринимается той же группой нервных волокон, которая воспринимает внешний свет. Поэтому мы воспринимаем это как внутренний свет. Причем очень любопытно: это длилось несколько часов на совершенно ровном уровне, причем, как говорил Даниил Андреев, "на уровне блаженства, едва переносимого". Вот на этом уровне длятся несколько часов, а потом, когда усилился внешний свет, то я отчетливо помню, как началась борьба между внутренним светом и внешним. Реальный ли этот свет? Я могу только сказать, что, так как это воспринимается той же группой нервов, которая воспринимает внешний свет, то мы это называем внутренним светом, но, строго говоря, мы не знаем, что это. Это просто переживание чего-то глубинного, вечного, целостного.

Вообще метафоризм заложен очень глубоко во всех наших представлениях.

Мы его просто недостаточно сознаем. Что же происходит после такого опыта? По большей части он вызывает страшную тоску и желание повторить его. У меня почему-то этого не было. Я почему-то понадеялся, что само по себе это будет повторяться, может быть, слабее... У меня не было чувства, что все остальное обесценено этим. Но у многих людей возникало чувство невероятной тоски. Может быть, их опыт был еще более сильным и еще более выходил за общие рамки, может быть, резче была граница между их жизнью без этого и с этим. Но сплошь и рядом возникает чувство невероятной тоски. Таким образом, если переживание тоски, досмотренное до конца, приводит в конце концов к переживанию света, то и обратно: данное внезапно, незаслуженно, может быть, накопленное в результате незаметных сдвигов, такое переживание света может легко вызвать чувство тоски и готовности сделать все, что угодно, чтобы пережить это еще раз. Силуан в своих записках сравнивает чувство, которое он испытал в состоянии богооставленности, когда кончилось состояние благодати, с чувством Адама, изгнанного из рая, с чувством матери, потерявшей своего единственного ребенка и т.д. Про Серафима Саровского рассказывают, что после того, как он однажды стяжал Дух Святой впервые, он настолько чувствовал себя несчастным, когда это все кончилось, что тысячу дней простоял на камне, умоляя Бога, чтобы это к нему вернулось.

Вообще такое внезапное переживание света или чего-то в этом роде дается нам как призыв вступить на духовный путь. Будем ли мы на этом духовном пути стремиться к повторению

этого переживания или смиренно примем, что нам будут даны только зарницы, отблески этого - это уже другой вопрос. Но, как правило, это поворачивает нас на духовный путь. Здесь возможны, конечно, свои ереси. Например, в романе Достоевского "Бесы" рассматриваются два вида таких индивидуальных ересей у людей, имевших этот опыт света: у Кириллова и у Ставрогина. Они это восприняли не как требование вступить на духовный путь, а как призыв к сверхчеловеческой гордыне. Поэтому опыт сам по себе очень много значит, но все-таки не все. Еще очень много значит наш нравственный уровень, наши нравственные привычки, наш разум, традиция, в которой мы живем. Тут очень легко оступиться. Я, размышляя над романом Достоевского, как-то выразился, что в нем как бы лестница, идущая из преисподней в рай. И на последней ступеньке в рай дьявол может подставить ножку, и человек падает вниз. А на последней ступеньке в ад ангел может протянуть руку, и человек спасется. Ни один изолированный опыт, ни одно изолированное переживание само по себе ничего не гарантирует. Оно что-то нам приоткрывает, но надо еще понять. И вот здесь, конечно, необходима встреча опыта с традицией и присматривание к тому, как люди этот опыт переживали. И к чему ведет ошибка в понимании этого опыта. В конце концов, всякий человеческий опыт высших мгновений есть только некоторое подобие, некая метафора.

Вернусь снова к тому, что я очень ярко помню, к опыту чего-то вроде личного светопреставления. Я сейчас опишу его подробнее. Я увидел, что небо, как стеклянное, расколосось, и куски начали падать на землю. А потом однопалатница моей покойной первой жены сказала мне ободряющую фразу - дело тогда еще не решилось, лежала жена живой на операционном столе. И когда возникла опять надежда, то падение осколков прекратилось, и они повисли на ленточках бумаги. Во время войны стекла крест-накрест проклеивались ленточками бумаги, и из моего опыта выпала такая неожиданная метафорика, что небо оказалось проклеено, как стекло при бомбежке, ленточками бумаги и куски неба повисли на них. Умом я в это поверить не мог, но я это видел. И после этого я очень много понял. Я понял, что выражение "небо с овчинку показалось" - это не шутка. Это какой-то древний человек с очень простым запасом опыта, испытав страшное горе, увидел, как небо сжалось, став с овчинку. А потом это уже повторялось как шутка, люди повторяли это, не понимая. В романе "Тихий Дон" есть такая фраза, что после смерти Аксиньи Григорий увидел черное солнце. Меня поразила сразу же эта фраза. Я думаю, что человек вроде Григория, так любивший Аксинью, мог увидеть черное солнце. Это не придуманное. И когда влюбленный, встречая глаза девушки, которые его потрясли, чувствует, что ему засаживают кинжал в грудь, то опять-таки он это переживает. Более того, он вполне способен тут упасть в обморок, если острие этого кинжала дойдет до сердца. То есть в очень многих случаях мы воспринимаем действительность метафорически. И опыт высших мгновений требует очень глубокой и серьезной интерпретации.

К счастью, имеется такой анализ своего опыта у Даниила Андреева, человека, очень утонченного в этих восприятиях и имевшего самые различные переживания глубинных слоев. Он был человек вполне интеллигентный и проанализировал свой опыт. "Первая стадия, - пишет он, - заключается во мгновенном внутреннем акте, совершающемся без участия воли субъекта и, казалось бы, без всякой предварительной подготовки. Хотя, конечно, такая подготовка, только протекающая за порогом сознания, должна иметь место. Содержанием акта является молниеносное, но захватывающее огромные полосы исторического времени, переживание, не расчлененное ни на какие понятия и не выразимое ни в каких словах, сути больших исторических феноменов. Формой же такого акта является насыщенная сверх меры динамическими кипящими образами минута или час - когда личность ощущает себя как тот, кто после долгого пребывания в темной и тихой комнате был бы вдруг поставлен под открытое небо в разгар бури, вызывающей ужас своей грандиозностью и мощью, почти ослепляющей - и в то же время исполняющей чувством захватывающего блаженства. О такой полноте жизни, о самой возможности такой полноты личность раньше не имела никакого



представления. Синтетически охватываются целые эпохи, целый, если так можно выразиться, метаисторический космос этих эпох с великими, борющимися в нем, началами. Ошибочно было бы предполагать, что эти образы имеют непременно зрительную форму. Нет! Зрительный элемент включается в них, как, может быть, и звуковой, но сами они так же относятся к этим элементам, как, например, Океан относится к водороду, входящему в состав его воды. Переживание это оказывает потрясающе действие на весь душевный состав. Содержание его столь превосходит все, что находилось в круге сознания личности, что он будет много лет питать собой душевный мир пережившего. Оно будет драгоценнейшим внутренним достоянием. Такова первая стадия метаисторического познания. Мне кажется, допустимо назвать ее "метаисторическим озарением".

Андреева в это время занимала больше всего судьба России, поэтому он говорит о метаисторическом, но с таким же успехом можно сознавать не только историю, а и другие вещи. Андреев оговаривает, что озарение всегда отрывочно. "Из душевной глубины постепенно, годами поднимаются в круг сознания отдельные образы, идеи, целые концепции, но еще больше их остается в глубине, и переживший знает, что никакая концепция никогда не сможет охватить и исчерпать этого приоткрывшегося ему космоса метаистории". Эти-то образы и идеи становятся объектом второй стадии процесса. Вторая стадия не обладает тем моментальным характером, как первая. Она представляет собой некоторую цепь состояний, цепь, пронизывающую недели и месяцы, и проявляющуюся почти ежедневно. Это есть внутреннее созерцание, напряженное вживание, сосредоточенное вглядывание, иногда радостное, иногда мучительное, в исторические образы, но не замкнутые в себе, а воспринимаемые в их слитности со второй, метаисторической реальностью, за ними стоящею. Выражение "вглядываться" я употребляю здесь условно, а под словом "образы" разумею не зрительные представления только, но представления синтетические, включающие зрительный элемент лишь постольку, поскольку созерцание может вообще иметь зрительно представимый облик. При этом крайне важно то, что содержанием подобного созерцания бывают в значительной мере явления, иномирные в своей материальности. Ясно, что воспринимать их могут не физические органы зрения и слуха, но некоторые другие, имеющиеся в составе нашего существа, но обычно отделенные глухой стеной от зоны дневного сознания. И если первая стадия процесса отличается пассивным состоянием личности, ставшей как бы невольным зрителем ошеломляющего зрелища, то на второй стадии возможно в известной мере направляющее действие личной воли - иногда, например, в выборе того или иного объекта созерцания. Но чаще как раз в наиболее плодотворные часы образы всплывают произвольно, излучая такую завораживающую силу и приоткрывая такой многогранный смысл, что часы созерцания превращаются в ослабленное подобие минут озарения. При известной творческой предрасположенности воспринимающего образы эти могут в иных случаях становиться источником или стержнем, осью художественных произведений. И сколь мрачны или суровы не были бы некоторые из них, но величие этих образов таково, что трудно найти равное тому наслаждению, которое вызывает их созерцание. Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать вторую стадию процесса. Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и их общая концепция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены. Иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчетливых связей, заполнения остающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от неличных и внерассудочных начал, более субъективную. Поэтому на третьей стадии совершаются наибольшие ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования.

Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка. Вполне отделаться от этого почти невозможно. Эту третью стадию процесса вполне естественно назвать "метаисторическим осмыслением".

Теперь попробуйте приложить эту концепцию к "Откровению" Иоанна Богослова. Там тоже, по-видимому, было яркое потрясающее отрывочное видение. Затем человек всматривался, повторял в своем уме, вглядывался и при этом их немного художественно достраивал. И, наконец, он в рамках своей философии это осмыслил. К этому можно добавить, что само исходное озарение тоже стихийно метафорическое, и смысл его не так просто раскрыть. Непосредственно для современников Иоанна Богослова это было откровением о судьбе Римской империи, в которой они жили, и о судьбе всего человечества, которое мыслилось живущим в этой ойкумене. Но много раз люди возвращаются к этому тексту. Есть там элементы, которые выходят далеко за рамки и метаисторического опыта, которые касаются каких-то глубин, подлежащих раскрытию в самом конце истории. Мне приходилось уже говорить о том, как я понимаю смысл Апокалипсиса. Апокалипсис, угроза светопреставления - это не античный рок, это не увиденная неизбежность, это скорее предостережение, указание на грозную опасность, которую можно избежать, если достигнут будет духовный и нравственный сдвиг. Здесь есть какая-то аналогия с пророчеством Ионы, который грозил Ниневии, что она будет испепелена, а потом ниневийцы покаяться, - и Бог простил их. Такое апокалиптическое видение, как у Иоанна Богослова, означает: вам должно преобразиться, иначе все рухнет. Тут здравый смысл отвечает: не могут же все люди преобразиться, так никогда не бывает. На это я, опираясь на опыт истории, должен сказать, что необязательно, чтобы все преобразились. Под влиянием проповедей Иоанна Богослова и других апостолов какой-то толчок преобразования испытало достаточно небольшое меньшинство. Но этого меньшинства оказалось достаточно, чтобы влить новый дух в Римскую империю, и, во всяком случае, восточная Римская империя просуществовала еще полторы тысячи лет. А если западная рухнула, то она рухнула только физически, а не духовно. Духовно как католическая церковь она осталась и подчинила себе, в конце концов, варварские племена, разрушившие западную Римскую империю. Это все сделал духовный и нравственный сдвиг горстки людей. И в современное время я не думаю, что нужно, чтобы пять миллиардов людей вдруг преобразились. Достаточно, если возникнет сильное духом творческое меньшинство, которое сможет потянуть за собой остальных.

Метафорика таких видений может быть самая различная, в соответствии с предыдущим опытом традиций духовидца. Он действительно видит эти образы, но само восприятие метафорично, и надо суметь увидеть дух за этой знаковой материей. Всякое приближение к проблеме вечного, к проблеме целого наталкивается на неадекватность наших слов, наших образов. Даже когда речь идет о сравнительно простой вещи, о предвидении исторического будущего, то сплошь и рядом человек, обладающий даром прозрения, не может точно описать предмета в пространстве и времени. Если предмет очень необычный - у него не возникает соответствующего образа. Нострадамус в одном из своих катренов написал: "Будут летать железные стрекозы". Я думаю, что он как-то заглянул в будущее и увидел самолеты, но он не мог понять, что это такое. Тем более принципиально невозможно описать то, что выходит за рамки человеческой культуры, человеческих слов. В сущности, все наше восприятие метафорично. Возьмем, например, цвет. Что это такое? Это реальность, которая существует независимо от людей? Ничего подобного, прибор, независимый от человека, зафиксировывает только электромагнитные колебания разных длин волн, а восприятие этого как цвета - это уже генетически и культурно заложенная в человека традиционная метафора, причем при некоторых сдвигах дальтоник видит груши синими, так что это не безусловно. Тут есть и культурная определенность. У примитивных народов нет большого числа цветов. И даже в русском фольклоре остались следы этого: солнце красное, сирень синяя - потому что не было подходящих слов. Древние цвета - это белый, красный, черный. Причем, все холодные цвета воспринимались как оттенки черного. Это метафора, определенная развитием культуры. Русские видят голубой цвет, а немцы не видят голубого, у них есть только синий. Русский язык усвоил оранжевый, то есть апельсиновый, усвоил сиреневый. Но ведь еще Тютчев писал:

"Набрести на свежий дух синели или на светлую мечту". То есть еще во времена Тютчева русские поэты считали сирень синей. Слово "сиреневый" поздно вошло в русский язык из французского. Так же культурно окрашены и образы, которые позволяют как-то передавать религиозный опыт.

Я думаю, что слово "Бог" связано с опытом видений, в которых переживший видит какие-то сияющие существа. Брахман связан с опытом созерцания чистого света. Дао - китайский опыт священного пути - связан, по-видимому, с опытом подсвеченной физической реальности. В сущности, равноценно сказать, что есть непостижимая тайна бытия, которую я иногда могу почувствовать внутри себя и, почувствовав, испытать блаженство причастности к этому сияющему целому. И эту тайну я называю Богом. Или сказать, что есть Бог, но он непостижим, он превосходит всякое мое разумение о нем и т.д. Это просто разные способы описания одного и того же. Логически корректнее первая форма, а потребность в образе, потребность в иконе требует скорее второго. Хотя каждый способ связан с некоторыми опасностями. Например, если мы назвали эту сияющую тайну бытия Богом, приравняли его как имя существительное к предметам, возникает логическая возможность поставить рядом другой предмет, то есть расколоть действительность на Бога и дьявола, на добро и зло и т.д. Между тем глубокое религиозное воззрение отрицает это раздвоение. Оно признает, что на глубине бытия зла нет, там есть лишь чистый свет. Но как только мы его назвали, мы формой своего высказывания создали логическую, грамматическую возможность противопоставить ему что-то другое. Вот это Бог, а вот это уже не Бог. Мы привыкли, что имя существительное описывает предмет, стоящий рядом с другими предметами. Отсюда формы описания без названия. Например, в одном из древнейших индийских текстов при подступе к проблеме целого мудрец все время говорит: не это, не это... Ничего больше сказать он не может. То есть это можно пережить, но это нельзя назвать. В другом тексте одной из Упанишад отец, обучающий своего сына, говорит ему: "То - высочайшее, то - всеобъемлющее, то - сияющее и то - это ты". То есть ты не можешь это увидеть, назвать, но можешь ощутить это в себе самом. Как в известном выражении, что царство Божие внутри нас. Есть нечто, но не пытайся назвать это, пока ты не пережил. Прежде всего, переживи. Не профанируй вечность определениями. Ибо определения без переживания становятся призраками, уводят в сторону.

Последовательно такую негативную манеру описания пытался провести ранний буддизм. В Бенаресской проповеди Будда проповедует: "Есть, о отшельники, нечто неставшее, нерожденное, несотворенное. Ибо если бы не было неставшего, нерожденного, несотворенного, - где было бы спасение от страдания в мире ставшего, рожденного, сотворенного?" То есть он ни разу положительного ничего не описывает. Это логически безупречно, никакой атеизм здесь не придерется. Никаких существ, о которых можно сказать, что этих существ нет, он не вводит. Но это требует привычки к высоким абстракциям. И народная религия, та же буддийская, не смогла на этом остановиться. Она все-таки ввела какие-то фигуры, на которых можно сосредоточиться, чтобы приблизиться к высшей тайне, не передающейся никаким словом, никаким знаком. Иногда это метафоры высшей реальности, а иногда это след встречи с душами святых, которые как-то, по-видимому, сохраняют свое существование после физической смерти. И это можно проследить во всех религиях. В основе этого лежат моменты встреч - иногда во сне, иногда почти наяву - с какими-то умершими близкими. Такие встречи со святыми можно представить как духовную реальность. Что же касается прямых встреч с Богом, то они всегда метафоричны, ибо Бога не видел никто и никогда.

В каждой религии огромную роль играют обожженные люди, то есть люди, вместившие в себя высшую реальность. Созерцая этих людей, сосредотачиваясь на их образе, можно легче подойти к этой реальности, которую полностью, я думаю, из здесь присутствующих никому не удалось пережить. Тем не менее, без нее мы тоже не можем жить. И вот какие-то духовные

встречи с обоженными людьми и с иконами, передающими жизнь этих существ, оказываются необходимыми для духовной жизни. С поразительной силой эту потребность в образе обоженного человека выразил Достоевский в своем "Символе веры". Приблизительно это так звучит: "Если бы как-нибудь оказалось, предполагая невозможное возможным, что Христос вне истины и истина вне Христа, то я бы предпочел оставаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа." Сравним с этим любопытное по резкости выражение одного современного буддиста. Он говорил, что наследие буддизма можно разделить на две неравные части. Во-первых, тот факт, что Гаутама Будда испытал просветление. Во-вторых, все остальное. Причем с точки зрения дзэн важно первое, а все наследие имеет второстепенное значение. Для Сибаямы, который так говорил, все решает факт просветления, который дает ему надежду, что и он может иметь просветление. Для Достоевского факты не важны. Однако можно найти и в христианстве утверждения, подчеркивающие важность фактов. В особенности подчеркивается важность воскресения. "Если Христос не воскрес, - говорил Павел, - то вера наша тщетна". Любопытно, что у Достоевского в "Символе веры" вопрос о воскресении совершенно отсутствует. Он вынесен за скобки.

То есть хотя бы Христос и не воскрес - это не важно. Важна личность Христа. Личность Христа настолько вызывает любовь, что этого одного достаточно для углубления и торжества духа во внутреннем мире Достоевского. Противоположная точка зрения с установкой на факт, мне кажется, принадлежит к другому типу сознания и восприятия. Я не берусь судить, насколько выше или ниже одно или другое, но это разные типы, и в этом выражается в значительной степени дух культуры. Мне кажется, что при всей исключительности формулы Достоевского она более, чем что-либо другое, выразило личностный характер христианской европейской культуры.

Упор на личность был уже в первых христианских текстах. "Сказано древним, а я говорю вам", - это формула, в которой очень ярко выражено личностное мышление, представление о личности как о высшем Слове. Именно личность Христа есть высшее Слово христианства, а не те или другие слова. Я не хочу сказать, что на Востоке вовсе нет личностного начала. Оно просто меньше выражено, менее подчеркнуто. Будда, несомненно, обладал могучей личностью, наложившей отпечаток на ряд великих стран Азии. Но в буддизме личность меньше подчеркнута, чем в христианстве. И это сыграло свою роль во всем дальнейшем развитии культуры. В результате возникают разные образы, разные словесные иконы.

Догмы я понимаю как словесные иконы. Я к ним отношусь очень серьезно, так же как и к иконам. Но для меня несколько нелеп вопрос, какая икона истиннее: Владимирская или Спас? Они обе истинны. Ибо иконы, написанные красками или созданные из слов - это вспомогательные средства, чтобы помочь нам сосредоточиться на духе истины. Истина же в полном объеме может быть только пережита. Центральная задача любой великой религии - это преображение, обожение личности. Слово «обожение» входит в православную традицию. Но любопытно, что оно настолько малоизвестно у нас, что каждый раз, когда мне приходилось об этом писать, мне вставляли вторую букву "Ж". В этой ошибке может быть своя сермяжная правда, это человек, обожженный огнем вечности... Примерно это говорил Серафим Саровский Мотовилову, когда тот его спрашивал, в чем цель христианина. Серафим отвечал ему: "В стяжании Святого Духа". Но человек, стяжавший Святой дух - это обоженный человек, преображенный человек, вступивший в устойчивый контакт с тем источником жизни, который всех нас породил. Это не значит, что такой человек стал Богом. Это хорошо выражено в одном афоризме Шанкары: "Капля тождественна океану, но океан не тождественен капле". Человек может стать каплей, нераздельной от океана, но, конечно, весь океан в него не вместится. И эту цель по-разному выражают разные традиции, но цель одна и та же. Например, в индийской формуле "Тат Твам аси" - "То ты еси" или «Ты - это то» выражается тождество личности Сверхличностному началу. Но вдумаясь в догматическое понимание второй ипостаси. Сын единосущ Отцу (тождество), от века пребывал в недрах отчих, и две природы, человеческая и

божественная, соединены в нем неслиянно и нераздельно. Та же идея выражена. Только в историческом христианстве это тождество приписывается только одному существу - Христу. А в эзотерической традиции индуизма тоже не каждому, но предполагается, что этого уровня иногда могут достичь наиболее мощные души. Сам Христос никогда не говорил, что его уровня нельзя достигнуть. Наоборот, он говорил: "Будьте подобны мне, как я подобен Отцу моему". Таким образом, задача теозиса, обожения - вполне ортодоксальна, но историческая церковь ее боялась, потому что боялась гордыни человека, который слишком много вкусил и мог, как Люцифер, вообразить, что он равен Богу. То и другое обладает своими достоинствами и недостатками. В частности, церковная точка зрения фиксировала тождество с творящим началом только за одним человеком, затушевывая задачу суметь узнать обоженую личность, когда она нереспектабельна, когда она была такой, как Иисус, которого вели на казнь, когда она не была еще написана на иконах, когда крест еще был виселицей, а не знаком, которым себя украшают.

**Не надо подводить итога,  
Покуда дух не собран весь.  
Для Духа нет земного Бога,  
Для Духа Бог всегда не здесь.  
А тот, кто смог в сосуд телесный  
Собрать весь дух - тот имярек.  
Есть Бог и Царь - но лишь небесный,  
А на земле он - человек.  
О Господи! Какие бредни  
Его триумфы над судьбой!  
Он после всех, он тот последний,  
Кто прикрывает всех собой.  
И слава громкая земная –  
Такая боль, такая ложь.  
Ты имени его не знаешь  
И вовсе не его зовешь.  
А он, отсутствуя в пожаре  
Страстей, хранит твой свет во мгле,  
Вот тот, кого ты вновь ударишь  
Во имя Бога на Земле.**